

Оглавление

Глава 1	7
Глава 2	27
Глава 3	70
Глава 4	109
Глава 5	138
Глава 6	162
Глава 7	200
Глава 8	222
Глава 9	246
Глава 10	269
Глава 11	300
Глава 12	323

Трудно быть человеком — люди мешают.

Роман Сенчин,
«Зона затопления»

ГЛАВА 1

Перед похоронами Барклай решил зайти в бывший продуктовый магазин. От того мало что осталось — выпотрошенная бетонная коробка, черные проемы окон, запустение. Барклай не мог пройти мимо.

По всему Усть-Саракташу лежал туман, и казалось, что еще не осела на улицах цементная пыль — прямо как в Первый день. Шептались зеленые пирамидальные клены, листья карагача и тополя дробили слабый свет.

Вывеска накренилась над дверью — кто-то выдрал первую, потерто-красную букву «м», и Барклай все думал, зачем же она понадобилась кому-то. Не дома ведь поставить?.. Ладно бы это была «я», главный девиз цивилизации, или что-нибудь, вроде попсовой «л», как знак любви к миру и человеку, но нет же, нет. Сколько ни жил Барклай, так ничего и не понял ни в жизни, ни в людях.

Из частного сектора слышался монотонный стук топора — люди трудились нескончаемо, заранее готовясь к зиме. Остановишься, и все оборвется. Барклай был из той же работающей породы.

Хоронить собирались Елену. Молчаливая, мелколицая и насуспенная, она запомнилась шелухой: двумя куриными яйцами, которые сунула Барклаю в руку, отблагодарив за выправленный забор, и коричнево-седой челкой, закрывающей глаза, когда Елена не разгибалась в огороде.

С ней прощались давно.

С того дня, как Елена принесла из леса младенца.

Глаза в магазине быстро привыкли к пыльной неподвижности. Барклай сделал несколько шагов по осколкам, обогнул вырванную с корнем раму, постоял в тишине. Он и сам не знал, зачем заглядывает сюда, если идет до землянки из материнской квартиры.

Ему порой слышалось в треске и шорохах, мышинной возне или завываниях ветра, как отец прочищает горло. Тогда Барклай сразу уходил из магазина и шел, шел, не думая ни о чем, — он знал, как опасны подобные всполохи, видел, как гаснут соседи, без конца вспоминая прошлую жизнь.

В дни эвакуации, в неразберихе, когда люди прыгали в автобусы почти без вещей, крепко держа за руку детей и оборачиваясь на разрушенные дома, Елена тоже собиралась уезжать. Двое ее дочерей, взрослые, остались в мире спокойном, не огороженном бетонной стеной, колючей проволокой и датчиками-тепловизорами. Прошли недели, прежде чем Елена вновь мелькнула на улице Яблочной.

Барклай не спрашивал, почему она осталась. С ней вообще мало разговаривали: может, от того Елена и пошла в лес и перерезала ножом грибницу-пуповину. Достала чуть теплого, светлого ребенка, сунула за пазуху, принесла в дом.

Соседи в ту же ночь слышали плач и собрались под окнами. Долго толклись у калитки, ворчали от страха. Елена не зажигала свечей, не топила печь. Был май, и ночи в ту пору стояли холодные. Ребенок плакал.

«Лена, неси его обратно!» — не выдержав, тонко выкрикнула соседка-подруга и зашлась в рыданиях.

Зайти в дом не решались. Если женщина приносила ребенка с грибницы, то забрать его можно было лишь силой, а новоиспеченная мать рычала, хрипела, бросалась и кусала тех, кто пытался ее спасти. Барклай пришел со всеми, разбуженный шумом, и стоял тут же, и мысленно с Еленой прощался. Соседку утешали, кутали в чужую дубленку.

Она хрипела:

«Я ей говорила в лес не ходить, пусть мужики грибов нанесут, у нее сердце мяконькое, она “нет” сказать не может, а тут ребяенок, и...»

Пока Барклай шел поутру на похороны, та ночь, светлая и ясная, стояла перед глазами. Запомнились запах сырой земли, и звезды, и плач, и толпа растерянных людей, которые знали, что одним гробом в Низине скоро станет больше.

«Сжечь этот лес вместе с детьми его, и делов-то...»

«А как на дома перекинется? Думаешь, тушить приедут?»

«Ну, “гуманоиды” ведь заезжают...»

«У этих свои цели, они нас как крыс рассматривают. А как спасать надо будет, так и не найдешь никого».

Барклай ушел одним из первых — понял, что Елена не подпустит его к ребенку. А стоять и попусту рассуждать Барклай не любил.

Спустился в землянку, запер дверь на засов, лег на доску-кровать. Сон не шел, слышался плач-морок. В апреле дети уже всюю кричали в осинниках, лес словно бы исторгал их из себя и ждал, когда чужое срежут, унесут в дома. Нет, какие же это дети — это грибы, мутировавшие, бесчувственные, обыкновенные паразиты...

С той поры Елена всюду ходила с широкой полозой ткани на груди — там, словно в коконе, лежал ненастоящий ребенок. Присасывался, впиваясь пальцами или чем-то еще в обезвоженную кожу, быть может, даже сосал грудь, в которой не было молока. Барклаю не хотелось приглядываться.

От Елены отворачивались, как от заразной. Барклай едва ли не единственный спрашивал ее о чем-то, пробовал заговорить мягко, но она, истощенная и с набрякшей чернотой под глазами, молчала. Работала, чистила картофель для одиноких стариков, что отказались покидать ветхие домишки, или высаживала рассаду в лунки, или носила воду из колодца.

Раз упала в июльском зное. Соседка заголосила, и половина горожан — хотя какие они теперь горожане, после смерти самого города, — бросилась к огороду. Люди выломали щеколду в калитке, растеклись вокруг, склонились над женщиной. Та еле дышала.

Кто-то поднял Елену на руки, унес в беседку, в тень дикого витого винограда. Дом был чужой, и убранство в нем Елена сохраняла прошлое, а сама жила в уголке, только вот огородом заведовала, поливала глинистую землю под абрикосом, высаживала перцы. Кто-то брызнул водой ей на щеки, кто-то сильно ущипнул за плечо. Елена казалась уже не бледной, а коричнево-желтой, с обметанными губами и испариной на лбу.

Младенец, распухший и насосавшийся, лежал у нее на груди.

Барклай потянул тряпку и попробовал оторвать его от Елены, но тот держался, как прилипший. Елена застонала. Люди отшатнулись.

«Нож, дайте нож...» — торопилась соседка, держа Елену за запястье. Все знали, что ей не помочь уже, даже убрав ребенка, даже бросив его в огонь, — Елена умрет от тоски. Но упрямо делали то, что должно, не глядя друг другу в глаза.

Кто-то в огороде торопливо ломал сухие, с зимы спиленные ветки, которые Елена заложила за компостной ямой. Кто-то бежал за спичками: их привозили «гуманоиды» — гуманитарщики и научные работники. Низина замерла, лес притих. Барклай потянул грибного ребенка на себя.

Елена села разом и схватила младенца, да так, что расцарапала Барклаю ладони. Он не отпускал.

«Отдай!» — зашипела по-змеиному.

«Ты же всё понимаешь».

Рванула нечеловечески, и ребенок, мяукающий, визгливый, скользнул под кофту к ее желтому животу. Показалась уродливая истощенная грудь, ее тут же прикрыли тряпкой. Соседка уговаривала, твердила что-то, Елена мотала головой, словно деталью на шарнире.

Кто-то взял соседку под руку.

«Оставь, это не она уже...»

С июля Елена совсем обессилела, слегла и в конце августа перестала дышать. Лежала костлявотонкая, как черный ноябрьский лист в отсутствие дождей.

Гроб был самодельный, кривенький, но и то благо — сразу после сброшенной на город биобомбы будущие низовцы закапывали всех найденных погибших сразу в землю, разве что закрывали лица одеждой или тканью. Потом из полотнищ — старых пододеяльников и затхлых пледов — принялись сооружать саваны. Затем, когда мертвецы стали редкостью, взялись мастерить гробы.

Елена умерла ночью, и похоронить их с ребенком следовало до обеда.

Лицо ее распухло, а глаза запали так, будто их и не было никогда. Топорщились облезлые брови над глубокими глазными впадинами, подвязан-

ный подбородок тянулся вниз, и рот оставался черным, приоткрытым. Соседка-подруга сидела в головах и плакала тихонько, поправляя ползущий на глаза синтетический платок. Елены она не касалась. Люди в комнате стояли поодаль, дышали через ткань.

Ребенок надрывался в колыбели из картонной коробки. Бережно вышитый пушистый матрасик, лоскутное одеяло, старые резиновые игрушки... Барклай первым прошел к нему, взял в коробке, как брошенного щенка.

— Оставь, — попросила соседка глухо и сипло. — В гроб уложим.

Барклай без вопросов положил мальчика обратно на кровать к покойной, чуть качнул коробку — ш-ш. Темные пустые глаза сошлись на нем, и ребенок заплакал жалобно, горько, потянулся ручонками. Барклай отступил к остальным.

— Заткните его чем-нибудь, хоть кляпом, — взмолился кто-то.

— Он же маленький и...

— Он — не человек!

Люди входили и, простившись, быстро шли во двор. Жгли дрова, пекли картошку на помин, черный дым поднимался в высокое жаркое небо. Треск березовых поленьев заглушал всхлипы. Барклай сидел у кровати на простом непокрытом табурете. Важным казалось проститься с Еленой по-настоящему, не боясь и не отводя взгляд. Быть тут, пока гроб не опустят в яму.

— Яблоки, — тихо доносилось из распахнутого окна. — Налились-то как, а. Пспеют, бабुлькам отнесем, я пюрешки намну... Вспомнят бедную.

Пахло костром, горячей мягкой листвою, садовыми помидорами. Кислые яблоки виднелись за дырчатым тюлем — яблоня гнулась под их весом, роняла тяжелые плоды на землю. Люди шептались, делили Еленино имущество. Та лежала спокойная, хоть и выпитая до последней капли.

Барклай поглядывал на ребенка — тот алел пухлыми младенческими щеками и тянулся, извиваясь, к людям. Коробка держала его, как в клетке. Соседка подходила к столу, пила кипяченую воду маленькими глотками, поправляла то графин, то рюмочки для гостей. Шипела:

— Пропади вы пропадом со своим лесом, бомбами и...

Умолкала, захлебнувшись злостью. Барклай хлопал по ее худой спине, и соседка бросалась в руки. Он ждал. Знал, что ей надо выплакаться, потом она будет носить на могилу Елене астры или гладиолусы, оставлять на земляном холме то грушу, то сладкие сливы... Тихо тикали ходики над столом. Люди сменялись, в комнате стоял сладковатый дух мертвого тела.

Пришел местный батюшка, отец Алексей — городская церковь не уцелела в Первый день, и теперь он принимал людей в небольшом доме. Туда нанесли образа, рушники и лампадки, пока сам Алексей день и ночь ходил в рясе, исповедовал возле грядок

или у кромки леса, но глаза его всегда оставались грустными. Молодой — Барклаю было под пятьдесят, а тому исполнилось тридцать, — Алексей отпускал бороду и старался избежать греха, но все же был не безгрешен.

Кумушки шептались, что он уехал с другого конца страны сюда, в маленький город то ли по собственной воле, то ли из-за крупного скандала в сибирской семинарии. Надеялся хотя бы здесь обрести Бога, и, похоже, трагедия Усть-Саракташа только укрепила отца Алексея в том, что он всё делает правильно.

Батюшка вошел, кивком приветствовал Барклая и соседку. Вздыхнул:

— Царствие небесное рабе божьей Елене... будем отпевать?

Соседка замотала седой головой:

— Понесли, батюшка, сил нет этого антихриста слушать.

Алексий вышел, старательно делая вид, что в коробке никого нет. Барклай поставил младенца Елене в ноги, где уже кучно лежали срезанные летние цветы, гаркнул:

— Мужики!

Сразу стало легче: не надо было больше сидеть, вглядываясь в обезображенное лицо, тосковать или злиться от непрерывного плача. Можно сосредоточиться на деле, куда-то идти. Их ждал пустынный, не так давно заложенный погост — к старому кладбищу дорога вела через лес, и людям не хотелось

вслушиваться в жуткий плач по пути, видеть вздернутые вверх детские руки со сжатыми кулачками. Лучше уж на опушке, на кромке рыть глубокие могилы и прятать туда грибных детей.

Барклай порой заглядывал к родителям на старое кладбище, и ничего для него не было хуже, чем в летний полдень, до того яркий, что резало в глазах и трава под ногами казалась белой, почти бесцветной, идти по тихой заросшей тропинке и слышать тоскливый клíč. Вспоминать, как на далеких деревенских погостах остались бабушка и дед, к которым Барклай и прежде нечасто ездил.

Нет, худшее все же было — к примеру, хоронить отца. Тот уходил долго, тяжело, и все равно смерть его стала потрясением.

На новых могилах, неподалеку от окраинных домов, все было деревянное: памятники, оградки, лавочки. Там же заросло большое костровище, из сжавшейся золы которого потом, месяцы спустя, выгребли и похоронили обугленные человеческие кости — в первые дни и недели копали много, нескончаемо, и большúю «партию» покойников как-то решились сжечь. Обложили резиновыми покрýшками, нанесли хвороста... Старухи подняли вой — «Не по-человечески это», — и больше к кремации не возвращались.

По старому кладбищу теперь шла бетонная стена — строители-подрядчики, которые огораживали прежде живой благополучный город, думали недолго.

Низовцы упрямо проклинали их — родственники многих остались за забором.

Тогда по грунтовым дорогам, по периметру, редко въезжая в город, колесили патрули. Забор еще не возвели, и главной их целью было не впускать в Усть-Саракташ любопытствующих, жадных до катастрофы. Сбивали дроны с камерами, отлавливали журналистов, давали немногословные, «обезжизненные» — так в Барклаевом детстве дед говорил об обезжиренных продуктах, которые изредка привозили в деревенский магазинчик, — комментарии.

Первые дни, месяцы... Панельные дома, рухнувшие или покосившиеся, тела под завалами, хаос, неразбериха, сплошное воровство. Спустя время Барклай и сам выходил до магазина — мародерничать — исключительно по свету, брал с собой то топор, то железный прут. На улице могли забить за банку сгущенки, не зная, сколько продлится осада и можно ли будет эту самую сгущенку, переслащенное густое молоко, попробовать еще хотя бы раз.

И эту дикость пережили.

Барклай потянулся за гробом. Замешкался на крыльце, и Елену перехватили другие мужики и понесли через огород, над недозрелыми тыквами и подвязанными огуречными плетями. В последние дни Елена не ходила уже, не спускала с себя ребенка, и соседка приходила поить да кормить ее размолотой в порошок гречневой кашей — капнет на ложку теплой водой, и в рот ей, почти покойнице. Елена не говорила, хрипела только, но младенца держала крепко.

Пока хозяйка умирала, за двором ухаживали соседки. Косили друг на друга прищуренным глазом, подсчитывали мысленно, сколько помидоров соберется с чужого куста, ввязывались в редкие, но яростные склоки. Спорили еле слышно, чтобы не потревожить не Елену даже, а того, кто вот-вот приберет ее к себе. Больше всего ругались из-за кустов хризантем — и спины разламывает болью, и черный остов города виднеется сквозь деревья, и рожденные не людьми дети плачут в лесу, зовут, — а эти два сорта хризантем поделить не могут.

Распогодилось, растопило туман солнцем. По пути Барклай нагнулся и сорвал с грядки две розовых клубничины — долгоспелые, они и в августе, и в сентябре краснели на прибитых морозом листьях. Огляделся, нашел среди других Анну. Она, почти ровесница Барклаю, стояла у забора, возвышаясь над людьми на полголовы — с прямой спиной и особой статью, Анна была выше его самого, но смотрела всегда прямо, не свысока.

Залюбовался ею. Хоть и похороны, и ребенок визжит нечеловечески, ощутив сквозь картонную стенку «материнское» тело, и толпа напирает, а все же не удержаться. Анна была красивой. Стройная, с широкими бедрами и длинной косой, большеглазая, в извечных длинных юбках и со спокойствием во взгляде, она как бы не замечала людского горя. Платье выбрала темное, на голову повязала ажурный платок, из-под которого виднелись светло-русые волосы с редкими блестящими нитями седины.

Рядом с ней крутилась шестнадцатилетняя сестра — Малая. Внешне девка была как уменьшенная копия Анны, только после Первого дня Малая остановилась и в росте, и в развитии.

Анна никого не слышала, смотрела прямо перед собой. Барклай прошел мимо и чуть склонил голову в приветствии, вложил ей в руку ягоды. Она поблагодарила негромко. Одну ягоду тут же сунула в рот Малой, та причмокнула, заулыбалась. Вторую передала косоватому Кириллу, Кирке, — мальчишка тоже был тут, карабкался на яблоню, хоть мать и запрещала ему ходить по чужим похоронам. Барклай не раз слышал их споры.

Кирка, конечно, увязался вслед за ним. Вихрастый, большеротый, неунывающий — в десять лет это почти обязательные качества. Шел на два, три шага позади, не отставал. За гробом тянулись люди. Барклай знал, что Киркина мать тоже идет со всеми, не из желания проститься с Еленой, а чтобы приглядеть за сыном, потому и не говорил с мальчишкой. Мать не высказывалась против того, чтобы чужой мужик общался с ее сыном, но смотрела затравленно, с тоской. Барклай принимал ее взгляд, понимал его. Держался поодаль.

Кирка шепнул:

— Самолет, дядь Барклай!..

Тот посмотрел, куда указывал мальчик, и подумал, что в том, как люди глядят в небо, всегда есть что-то наивно-детское, как неизбывная вера в чудо. Или спасение, которого Барклай не искал.